

Юрий ГУДУМАК

Юрий Гудумак, поэт, географ, исследователь ландшафта, родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор семи поэтических книг, в числе которых «Песнь чибиса» (2008), «Разновидность солнца» (2012), «Дифирамб весне (bis)» (2017). Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в литературных изданиях «TextOnly», «Цирк “Олимп” + TV», «L5», «Воздух», «Волга», «Luterrатура», «Полутона», «Двоемочие», «Артикуляция» и других, в арт-проектах «Prostory», «Солонеба», в ряде поэтических антологий, а также переводились на английский и румынский языки.

НАСЛЕДНИК ПОДЗИМНЕЙ ИМПЕРИИ

Весеннее стихотворение 1971 года

При том что год на год не приходится,
ближайший оборот вокруг солнца предвосхищает,
я вижу, карту, снятую с одного из весенних утр
то ли семьдесят первого, то ли семьдесят второго года.
И хотя голубую раскраску озер можно было бы объяснить
скорее мечтой или сновидением,
чем изменением атмосферы,
пунктирные контуры рощ и лесов
кое-где уже выделялись
нежной молочной зелению.
Все остальное не образовывало
чистого развертывания протяженности,
но, соединенное сложным рисунком горизонталей,
обладало как минимум топологической истинностью:
глинища, кладбища, виноградники, поля, луга
и прочие уголья.
Это были кусочки римановых пространств –
неких матриц для каждого цвета,
который еще придет.

Вид незаконченного грубого наброска
хорош, вероятно, тем, –
ломал голову бессознательно живущий во мне метафизик, –
что будоражит воображение обещанием чего-то еще.
Ощущение, для которого я не находил имени,
потому что его воздействие усиливалось
новым дополнительным моментом.
А именно ожиданием.
Как если бы карта предназначалась
для передачи ощутимой длительности,
и у нее это получалось лучше, чем у меня теперь,
чем при попытке линеаризировать ее форму
в текст:

...скорость – не что иное,
как бесконечно убывающая медленность,
в особенности если это скорость прихода весны.

Рассуждать о пространстве как о «вещи в себе»,
определяемой через то, что она не есть, –
привычное дело;
не совсем привычное – рассуждать,
продолжая в подобном духе, по-кантиански,
о времени, о его физическом корреляте;
эта же, что всего страннее, –
имела границы,
обозначенные хитрой неровной линией,
оставленной химическим карандашом на сырой бумаге.

Истина*

(*грубая истина) состояла в том,
что за положенными пределами
(положенными вот так, и никак иначе)
и впрямь простиралась вполне кантианская,
ни в одной из мыслимых точек ничем не выделяющаяся,
не задающая более никаких различий
однородная текстура листа
в разворот страницы
из школьной тетрадки в клетку.
В полустершейся-полувыцветшей разграфке страницы
мерещились бесчисленные фракталы миллиметровки –
что-то от иллюстрации парадокса, согласно которому
мир начинается там,
где кончается смысл.

В семьдесят первом*

(*или в семьдесят втором)
меня посадили в первый* (*или во второй) класс,
и тогда я еще не имел понятия ни о каких азах картографии:
ни о масштабе, ни о территориальной привязке,
ни о маркировке географических направлений.
И однако карта –
по мере того, как теперь я все более безуспешно
пытался линеаризировать ее форму в текст, –
ничего сверх этого,
ибо все остальное «литература», –
карта представлялась мне сокровищем внутренней жизни,
каковая – о, да – не приходит к самовыражению,
не растеряв по пути лучшую часть самой себя.

Я наткнулся на нее совершенно случайно,
перебирая домашний библиотечный хлам,
давно не читанный и забытый.

Развернув листок,
я увидел все тот же родной ландшафт,

все ту же область примеров исчезновения – своего рода свод тактических моделей поведения и стратегем существования, предваряющий все предыдущие и последующие тома поэзии.

...Голубую раскраску озер,
которую можно было бы объяснить
скорее мечтой или сновидением, чем изменением атмосферы,
пунктирные контуры рощ и лесов, которые кое-где
уже выделялись нежной молочной зеленью.

Обретение собственных телесных координат,
тут же заканчивавшееся их крушением,
казалось производным феноменом,
связанным с зыбким движением
цветовых поверхностей.

Блуждая в меандрах, реки,
все до единой, текли,
в соответствии с четверицей сторон света,
к правому краю листа – в сторону солнечного восхода.

Как и следовало ожидать, отметки близлежащих холмов
обнаруживали надбавку в полсотни метров и исключали их
из какой-либо известной системы высот –

словно их опоясывали, словно их опутывали
не просто горизонтали,
а герменевтические круги,
а таинственные лабиринтообразные конфигурации
изотерм, изонейф, плювиометрических кривых,
преодолев которые откроются
широкие горизонты лета.

Диоскорида астрология

Уже догомеровский Мусей,
говоря о том,
что астра помогает во всяком хорошем деле,
дает обильный материал эпическим поэтам.
И это при всем при том, что в античной Греции
астра, похоже, была достаточно редким растением,
если даже такой ученый муж, как Диоскорид,
судит о ней исключительно по рассказам
и называет не иначе, как «волшебной травой».
В гетских пустынях, откуда мы родом,
ее можно собирать в стога.

К концу сентября,
когда солнечные ожоги и жвачные животные,
кажется, довершают дело,

только ее и видно —
как ни в чем не бывало
продолжающую цвести врассыпную по всей низине,
посреди мертвой, рассыпающейся в прах,
полувыветрившейся корки солончака.

В безоблачные
ведренные дни, будучи дома на каникулах,
я частенько выбирался туда с одной никому не понятной целью —
наконец уяснить, действительно ли растение,
идентифицируемое современной ботаникой
с *Aster tripolium* — солончаковой астрой,
тот самый цветок, о котором Диоскорид говорит,
что он трижды в день меняет свою окраску:
утром он белый, в полдень он красноватый,
вечером он — пурпурно-красный.

Как только линия горизонта,
отодвигаясь по мере приближения к ней,
опрокидывала навзничь знакомую местность тысячами небес,
захватывающее зрелище обращало меня не то в астролога,
не то в астронома — исследователя астр,
каждая из которых покоилась
в своем неподвижном небе.

Утренний белый цветок
я объяснял влиянием Сириуса,
восходящего на рассвете в жарчайшую пору года,
когда некоторые из цветов бледнеют, иные же
приобретают соленый вкус;

полуденный красноватый —
двойным влиянием Сириуса и Солнца,
каникулярного, называемого так
по сообразной наклонности с этой Песьей звездой;

вечерний пурпурно-красный — тенью Земли,
когда она, застилая Солнце, производит ночь.
Просто-напросто — суточным параллаксом. Или, еще того проще,
исходя из признания оптического начала в строении глаза —
осыпанием пикселей.

Теперь я таращусь
на жухлую, гербаризованную годами отсутствия,
охапку астр в фарфоровой вазе
и, вместо того чтобы прослезиться,
посыпав перцем глаза, —
«наедине со своей клятой свободой», —
меня занимает вопрос,
необходимо ли было так доверять Мусею.
Мифическому Мусею, о котором известно,
что все произведения, приписываемые ему,

являются позднейшими-де подделками.

Если да,
и астра помогает во всяком хорошем деле,
то эффект ее действия очевиден мне лишь теперь:
он подобен стратегическому действию загадочного аконита,
приняв который, человек умирал через столько времени,
сколько времени прошло с его сбора.
Если мир этот существует,
то не потому, что он лучший, – заключаю я, –
он лучший, потому что он существует.
То есть в пику всем
разыгранным в лицах вариантам действительности,
о которых, знай мы их, стоило бы забыть.

Нечто обратное тому,
чтобы свести множество разных фактов в один период,
а из периода, чего доброго, создать
метрическую редакцию:

...я на Лефкасе,
пробующий разжевать кусок дерева,
с тем чтобы этой магической операцией
смягчить сердце возлюбленной;

в культурной столице мира,
на рю Равиньян, за чашечкой кофе с нею же –
несколько излюбившейся, но еще красивой особой,
одетой по моде парижских предместий;

один на вокзале в Тренто, в момент разочарования,
когда узнал, что уже пересек Альпы и не понял этого;

в компании трех, таких же, как я, на биеннале поэтов
в Москве...

Шелестящий свет огненных ос-блестянок

Я не знаю о других.
Но для того, кто к ней привык,
даже скверная погода становится полезной.
Не тем, что она сама по себе представляет,
а тем, что она возвещает, и лишь поскольку
имеет место быть противоположное тому,
что произойдет после.
Не побудительный мотив,
а вознаграждение, которое в своей пятикратной метаморфозе
предстает в виде облака, ветра, дождя, радуги
и росы.

Все это

говорит в итоге
то ли о мелких воздушных течениях,
то ли об игре необычайных рефракций, –
тоже, впрочем, зависящих от перемены ветра,
насыщенности атмосферы водяными парами,
соприкосновения слоев воздуха различной температуры, –

о барометрическом максимуме в овальной*
(*сердцевидной) проекции,
с его шелестящим светом огненных ос-блестянок
и одной лишь сгущенной цветочной субстанцией неба,
производящей опьянение или даже обморок:
в его меду погребают покойников.

Не весна, стало быть,
пробуждала во мне поэта
(и провоцировала картографа), а ее отсутствие,
но, чтобы я мог ощутить ее отсутствие,
она должна была время от времени
давать о себе знать.

Это –
предсказуемо.
Что уж ни говори.

Сообразно тому,
как распределяются дождь и ведро
и, разлившись, свет упраздняет функции и имена
земной топографии.

Наследник подзимней империи

Наследник подзимней империи,
несущей на себе следы глубокой осени,
настои и буквы, смерть самого близкого человека,
которую я пытался хоть как-то тогда объяснить
вероломством коварного климата,
теперь я отстаиваю подобные этим теории
со сдержанною печалью.
Печалью, – добавил бы я, –
чьи периоды, а по сути – сплошные длинноты,
перемежаются в удивительно правильном,
заведомо правильном соответствии
с переменной времен года.

Что было бы, в общем, правдой,
если бы смерть, о которой невозможно забыть,
и о которой я говорю,
не была подобна
обрушившемуся на нас
удару враждебной планеты.

Иногда,
чтобы представить это,
достаточно момента наибольшего сближения с Луной*
(*способствующего наилучшему наблюдению
над росой).

Иногда –
невыносимого жара июньского солнца*
(*потому что до июльского, в созвездии Рака,
надо еще дожить).

Кучка пепла,
остающаяся от заката,
венчающего энную сумму дней,
порождает в конечном счете
совершенно новую фотологию, сумерки цвета пурпура,
в которых садовая лилия, сочетая спектральную чистоту
с преимуществом зрения альбиноса,
становится почти символической –
лопающейся,
как фантасмагорический картографический знак,
и стороны света обретают свои направления
лишь по мере того, как один за другим
опадут ее лепестки.